

УДК 316.77

ИЗМЕРЕНИЯ ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: КОММУНИКАТИВНОЕ, СЕМИОТИЧЕСКОЕ И КОГНИТИВНОЕ. ЧАСТЬ I



Пахалюк Константин Александрович,

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
аспирант кафедры политической теории,
Москва, Россия,
E-mail: kap1914@yandex.ru

Аннотация

Автор рассматривает дискурсивный подход в политических исследованиях с точки зрения выделения ключевой проблематики, а именно не-нейтральности языка в (вос)производстве политических отношений. Эта не-нейтральность связывается с изучением трех измерений дискурса: коммуникативного, семиотического и когнитивного, что в свою очередь требует активного заимствования различных теоретических подходов и методологических инструментов смежных дисциплин.

Ключевые понятия:

Дискурс-анализ, когнитивистика, история науки, политический дискурс, теория метафор, коммуникативистика, семиотика.

Противоречивость дискурсивного подхода в политических исследованиях отмечалась многими исследователями [6, с. 12; 10, с. 85–86; 12, с. 44; 13, с. 9]. Причина лежит в междисциплинарности и многозначности самого понятия дискурса. В социальных науках оно появилось в 1940–1950-е гг., а именно вышло из структурной лингвистики, где под дискурсом понималась речь в социальном контексте, промежуточное состояние между «языком» (как набором правил) и «речью» (как ситуативными способами их использования). Однако вскоре оно стало заимствоваться представителями других дисциплин: в 1960-е гг. экспансия структурализма и семиотических методов привела к «лингвистическому повороту» в социальных науках, в центре которого находилась проблематика не-нейтральности языка в (вос)производстве социальной реальности. В зависимости

от поставленных целей и специфики научного поля исследователи по-разному конструировали объекты исследований, а соответственно и придавали понятию дискурса разные значения. Если, например, социолингвисты и основатели школы критического дискурс-анализа понимали под ним сложное коммуникативное событие, то философы-постструктуралисты «растягивали» этот термин до обозначения всего семиотического пространства и практик (в том числе неязыковых) его воспроизводства.

В политической науке дискурсивные исследования, как правило, ассоциируются с интерпретативистской парадигмой, получив наибольшую популярность в таких субдисциплинах, как политическая социология и политическая психология [25, р. 153–171; 26, р. 126–143]. Как правило, интерес к ним проявляют те авторы, которые изучают «идеальное» измерение политического, поскольку обращение к дискурс-анализу позволяет операционализировать достаточно абстрактные понятия «легитимности», «идеологии» или «идентичности», показывая, как они «работают» на практике [20; 21; 22]. Причем изучаемым высказываниям (декларациям, выступления политиков, материалам СМИ) придается несколько иное, нежели обычно значение: все эти высказывания не просто отражают, а собственно конструируют реальность. Подобная текстоцентричность приводит, однако, к опасности подмены текстовым анализом изучение собственно политических процессов. Многочисленные статьи о вечно меняющихся «образах» того или иного политического явления мало что вносят в понимание устройства властных отношений. В этом проявляется одна из ключевых «слабостей» (с точки зрения именно политической науки) доминирующих дискурсивных подходов: выйдя из лона структурализма, они скорее проясняют механизмы функционирования, нежели причинно-следственные связи. В России наиболее часто этим «грешат» политические лингвисты: они, возможно, решают исследовательские задачи, специфичные для языкознания, однако достигаемые (за рядом исключений) результаты для политического науки не имеют практически никакого значения. Пример тому – журнал «Политическая лингвистика»: если судить на основании поисковой системы «Научной электронной библиотеки» (elibrary.ru), то из 5288 ссылок (на декабрь 2017 г.) только 14 приходится на такие известные журналы как «Политическая наука» и «Политэкс», и ни одной – на ключевые для отечественной политологии издания как «Полис» и «Полития». Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что никакого междисциплинарного синтеза не происходит.

Отсюда мы полагаем возможным вернуться к первоначальному вопросу, который стоит в основании дискурсивных исследований: «что значит изучать не-нейтральность языка в (вос) производстве политических отношений»? Ведь ни для кого не секрет существование дискурсивного измерения политики. Если лингвисты могут сосредоточиться на изучении собственно языкового материала, то политологу необходимо «опосредующее звено», эксплицированное в виде теории и проясняющее значение именно обращения к дискурсу. Однако вопрос здесь не только в том, как именно видится устройство политической реальности (мы оставим его за пределами нашей статьи), но и в том, что именно значит изучать ее дискурсивное пространство. А потому мы предлагаем выделять *три измерения дискурса*: коммуникативное, семиотическое и когнитивное. Если брать теорию когнитивной метафоры для рефлексии наших теоретических рас-

суждений, то мы можем говорить о трех метафорических структурах: дискурс как посредник (коммуникативное измерение), дискурс как пространство (семиотическое) и дискурс как глубина (когнитивное). В зависимости от исследователя (поставленных им задач) внимание может быть сосредоточено на одном, двух или – реже – сразу трех из них. Исторически эти три измерения отражают те области, откуда представители дискурса-анализа наиболее активно заимствовали теоретические подходы и методологические инструменты. Более того, обращая внимание на каждое из них в отдельности, мы стремимся показать, что именно может стоять за изучением дискурса, т. е. конкретного языкового материала, а также, почему дискурс-анализ не может быть сведен только к лингвистике.

Коммуникативное измерение дискурса

Изучение дискурса как коммуникации акцентирует внимание на роли языка как медиума во взаимодействии между индивидами. Значение имеет то, как происходит передача сообщения. Подобная не-нейтральность «канала передачи сообщения», способа организации коммуникации открывает широкое пространство для заимствования подходов, сформулированных в рамках социологии коммуникации. Впрочем, нельзя не признать, что социолингвисты склонны сводить проблематику дискурса-как-коммуникации к риторике и используемым риторическим стратегиям [18].

Стоит заметить, что в дискурсивной лингвистике (а заодно и в этнометодологии) получила популярность предложенная Р. Якобсоном шестичастная схема коммуникации (адресант – адресат – код – сообщение – контекст – канал) с акцентом на анализ функций каждой из составляющих [19, с. 33]. Эта аналитическая модель позволяет структурировать анализ конкретных речевых актов. В конечном счете, вместо нее может быть использована практически любая теория коммуникации [4], что открывает дорогу для социологии дискурса.

В более широком контексте речь идет о том, что само устройство коммуникативного пространства влияет на то, как создаются смыслы. Одним из первых эту идею выразил в 1960-е гг. М. Маклюэн в своей формуле «медиа есть сообщение», указывая на то, что сама технология вовсе не нейтральна для передачи смысла, именно она опосредует наше восприятие окружающего мира и тем самым играет роль в его формировании. Отголоски этой идеи можно найти, например, у Б. Андерсона, который утверждал, что переход к печатному слову и чтению романов сделал возможным подорвать цикличное восприятие мира в пользу линейного и тем самым заложил основу для формирования идеи нации как коллективной сущности, имеющей свои истоки и находящейся в процессе развития [1]. В схожей логике в 1990-е гг. социолог Н. Луман описывал реальность медиа как системы, обладающей собственной внутренней динамикой, отличной и от той, которой обладает отражаемый мир, и от той, в которую включен потребитель медиа-продуктов [9].

Пожалуй, наиболее последовательно эту идею развил французский социолог Р. Дебрэ в своей медиологии, концепции, исходящей из представления о тотальной материальной опосредованности любого знания, опыта или действия. Отличие от «классических» теорий коммуникаций он видел в том, чтобы рассматривать изучаемый объект не в синхронном, а в диахронном измерении. Любая

«идеальная сущность» неотделима от процедуры символизации, используемого кода, материального носителя и канала распространения [5, с. 66]. Так, например, идея единого Бога (появившаяся у древних евреев) становится производной от пастушьего образа жизни, консонантного письма и использования папируса, поскольку произошел перевод религиозных символов и учений в текст [5, с. 129].

В России схожие идеи развивает философ В.В. Савчук, который предложил проект медиафилософии, где «медиа есть все то, что опосредует наше восприятие, что открывает сокрытое, что является первосущим <...> Конкретный вид медиа создает собственную реальность, свой способ восприятия, свои практики обхождения с ним, но также – и это всегда нужно помнить – имеет свои разрешения / ограничения, ограниченные разрешения, коренящиеся в устройствах тех аппаратов и средств, которыми мы пользуемся» [15, с. 39]. Тем самым человек воспринимает мир всегда опосредованно, причем у этих средств опосредования существует собственная логика, которая сегодня все больше и больше подчиняет мир себе (коммуникация оказывается нередко автореферентной).

В контексте политической науки сосредоточение на коммуникативном измерении дискурса предполагает обращать внимание на не-нейтральность коммуникации в (вос)производстве политической реальности. Каким образом существующие практики ограничивают и формируют политическую сферу? Например, проблема доступа к ключевым средствам артикуляции собственного мнения, своей позиции находится в центре критического дискурс-анализа. Одновременно данная проблематика разрабатывается в рамках «аргументативного поворота» в *policy studies* [24]. Сюда же могут быть отнесены и работы, посвященные практикам ведения публичных дискуссий [16].

Семиотическое измерение дискурса

Исследователи, сосредоточивающие внимание на данном измерении, рассматривают дискурс как пространство создания и воспроизводства значений. Здесь также уместна метафора дискурса как сети значений, в рамках которой действуют различные субъекты. На Западе основы данного подхода были заложены семиотиками (Ч. Пирс, Моррис) и структуралистами (первенство необходимо отдать Р. Барту). В России сторонники данного подхода нередко отсылают к наработкам Московско-Тартуской школы, и в частности, Ю.М. Лотмана. Он ввел понятие семиосферы для описания культурных явлений. Она виделась как некая динамическая система, обладающая собственной структурой (бинарностью и асимметрией), центром и периферией, внутренним пространством и границей. Важна попытка перенесения общей теории систем и системно-функционального подхода (популярного в 1960–70-е гг. в точных науках) на социальное пространство, некоторые в частности, на ту его часть, которая призвана отвечать за смыслопорождение [8, с. 175–205].

Можно выделить два направления семиотических исследований политики. Первое из них концентрирует внимание на особенностях собственно знаков, используемых в политических взаимодействиях. Здесь можно отослать читателя к работам Е. Шейгал [19]. Отметим, что именно для данного направления типичны попытки выделить инвариантные свойства политического дискурса, как если бы последний обладал некоторой спецификой, отличающей его от других

дискурсов. Например, сама Е.И. Шейгал выделяет следующие: специфика информативности (преобладание эмоционального, фатического и ритуального над информативностью и рациональностью), смысловая неопределенность, фантомность (наличие самореферентных знаков), фидеистичность (иррациональность), эзотеричность, влияние масс-медиа, дистанцированность, а также театральность [19, с. 44–69].

Второй подход ориентирован на изучение не столько самих знаков, сколько порождаемых посредством них смысловых пространств, стремясь (в предельных случаях) прочитывать всю политику как текст. К нему мы относим основоположника политической семиологии Р. Барт [2, с. 10]. Именно он первым обозначил проблему свободы индивидуума от языка, поставив под вопрос возможность свободного выражения своей уникальности через акт письма. Ведь язык всегда является социально обусловленным, он предшествует индивиду, предлагая собственную сетку категорий, различных наборов выражений и языковых инструментов, как правило, уже ранее использовавшихся другими, а потому носящих следы этого использования. Уже в одной из первых своих работ «Нулевая степень письма» Р. Барт выступил с критикой подобного отягощённого языка. Процесс означивания, письмо, выступает как функция языка и стиля, которые «очерчивают для писателя границы природной сферы, ибо он не выбирает ни свой язык, ни свой стиль» [2, с. 58]. Вместе с тем и письмо само по себе далеко не свободно, антикоммуникативно и явлено как нечто символическое, обращенное само на себя (тем самым письмо противопоставляется живой речи).

Особое место Барт уделял политическому письму, задача которого «в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей» [2, с. 63]. Тем самым слово превращается в алиби, а политическое письмо становится на службу полицейского, дисциплинирующего, государства. Конечно, существовали различные типы письма. Например, в классическую эпоху писатель всегда вставал на сторону власти, революционное письмо отличалось особой эмфатичностью, что соответствовало самоощущению эпохи («никогда еще человеческая речь не была более искусственной и менее фальшивой» [2, с. 64]), марксистское письмо претендовало на то, чтобы стать языком познания, было теснейшим образом связано с практическим действием, что в свою очередь связано с определенной системой оценок. В этом плане сталинское письмо предстает как логическое движение вперед, как попытка постоянно проводить границу между Добром и Злом, где нет ценностно-нейтральных слов, а весь мир уже оценен. Любое политическое письмо представляет в конечном итоге власть, и тем, чем она есть, и тем, чем она пытается казаться [2, с. 67]. Не меньше критика направлена и на буржуазное письмо, в котором «писатель был предан единственной страсти, оправдывавшей все его существование, – созиданию формы» [2, с. 103].

Вместе с тем, обычно исследователи предпочитают сосредоточиваться на изучении отдельных сегментов политического дискурса. Многочисленность таких работ заставляет нас остановиться на двух характерных примерах описания «отдельных языков». В одном случае (А. Хиршман) акцент делается на «логическом» измерении, во втором (М. Мартынов) – на структурном описании автономного «политического языка» сквозь призму культурных детерминант.

А. Хиршман посвятил свое исследование дискурсу реакционности. Реакционность понимается им весьма широко: как противовес конкретным

прогрессистским попыткам осуществить экономические, социальные или политические трансформации в целях улучшения жизни общества. Хотя автор на протяжении всей книги апеллирует такими понятиями, как «риторика» и «аргумент», перед нами вовсе не исследование в области консервативной мысли. Уже в предисловии А. Хиршман пишет: «В процессе моего исследования выяснится, что дискурс определяется не столько базовыми чертами личности, сколько императивами аргументации, практически не зависящими от желаний, склада характера или убеждений участников» [17, с. 9]. В последней главе исследователь пишет более мягко: «Моя главная задумка – проследить некоторые ключевые реакционные тезисы сквозь дискуссии последних двух столетий и показать, что участники этих дискуссий в своих аргументах и риторике следовали некоторым константам» [17, с. 176]. Хиршман выделяет три вида аргументов «реакции»: тезис об извращении («попытка развивать общество в определенном направлении приведет к его движению ровно в противоположном направлении» [17, с. 20]), тезис о тщетности (предполагает, что попытка реформирования обречена на неудачу, а потому «была и будет всегда лишь фасадом, поверхностью, прикрытием» [17, с. 53]) и тезис об опасности (предлагаемые изменения влекут неприемлемые издержки [17, с. 92]).

Среди работ, выполненных в духе структурно-семантического подхода, можно назвать исследование М. Мартынова, посвященное языку русского анархизма [11, с. 5]. В поле зрения попадает то, каким образом происходит концептуализация мира анархистами. Так, исследование начинается с анализа пространственной характеристики концепта власти в России, в которой ключевое значение имеет понятие центра, в то время как анархизм предстает как отрицание власти, понятого как *arche*, т. е. центра и первоначала. Это горизонтальное, а не вертикальное пространство, основанное на принципах самоорганизации и самоуправления, не включающее в себя понятие священного (и тем самым противостоящее пониманию власти в русской культуре, не допускающей десакрализации власти). Другое значение для понимания русского анархизма имеет распространенный в русскоязычной культуре концепт путешествия, который в анархическом видении преломляется как бегство от мира, отрицание конечной цели и отрицание любых границ. Русский анархизм рассматривается в семиотическом пространстве русской языковой культуры. Для русских анархистов идеал народной власти (как представление о естественном, свободном народном духе, противопоставляемом государству) является центральным, тесно связанным с концептом правды. В ее семантическое содержание встроены идеи неба и власти, а потому на практике получается парадокс: происходит сакрализация представлений о народной власти (народной правде), несмотря на общее неприятие трансцендентного и сакрального у анархистов. Близкодная правда, включенная в основание анархического проекта, характеризует анархизм противоположным образом, как проповедующий насилие и опирающийся на священный характер власти... В своих размышлениях о свободе анархисты как бы изначально оказываются в ситуации языковой несвободы. В тех случаях, когда анархисты полагают, что язык – это послушный инструмент, находящийся в их полном распоряжении, и при этом не желают замечать всей языковой неоднозначности и концептуальной сложности, – неизбежно возникают многочисленные парадоксы» [11, с. 51].

Отметим близость семантического понимания дискурса к такому междисциплинарному направлению в политических исследованиях, как символическая политика. Ее идейные истоки восходят, с одной стороны, к М. Эдельману, У. Сарцинелли и Т. Майеру, а с другой, – к социологическому конструктивизму П. Бурдьё. В России эта дисциплина активно развивается, прежде всего, О.Ю. Малиновой и С.П. Поцелуевым. И дискурсивный, и символический подходы сближает их нахождение в интерпретативистской парадигме, а также – общий интерес к производству смыслов. Ключевое же различие состоит в том, что проблематика дискурса акцентирует внимание на не-нейтральности языка (способов выражения), в то время как для символической политики этот аспект является одним из возможных, однако фокус смещен на производство значений. Изучаемые символы интересны именно как социальные и политические факты.

Для американско-немецкой традиции, получившей развитие в последние годы в России, характерно понимание символической политики как форм и механизмов презентации политиков, способов легитимации господства и идейного манипулирования. Так, М. Эдельман интересовался тем, как посредством символов политическая сфера производит свое «внешнее пространство», через которое все, кто не включен в политический процесс, получают представление о политическом. В данном случае политика уподобляется спектаклю, призванному легитимировать господство и не допустить широкие массы до политического участия [14]. Близкими к данному направлению можно отнести те исследования, которые описывают практики властной «игры слов», которые направлены на формирование особого языка описания и легитимации далеко не самых приглядных практик. Хрестоматийный пример – описанный Х. Арндт «язык нацистов», когда «массовое убийство» называлось «окончательным решением», «умерщвление газом» – «медицинской процедурой» и пр. Функция заключалась не только в обмане других и поддержании самообмана исполнителей, но и в том, чтобы способствовать бюрократизации самого процесса геноцида. Подобная практика подмен значений весьма распространена, а широкие общественные дискуссии вокруг тех или иных определений могут рассматриваться как акты символической борьбы [7].

Другое понимание символической политики восходит к П. Бурдьё, который в центр своей социологии политики ставит борьбу за символическую власть – власть легитимной номинации социального пространства (которое принципиально гетерогенно и состоит из множества акторов, отношения между ними определяются владением экономического, социального, культурного и символического капиталов), легитимное выражение правды о социальном мире, право производить категории, посредством которых происходит социальное деление. Под «номинацией» могут пониматься и сословное деление, и звания, и награды, и степени, и социальные группы (чьи действия подлежат регламентации, а интересы – удовлетворению) [3, с. 28–39]. Речь не идет о манипуляции: производство символических значений, организующих социальные процессы, не может быть волюнтаристским актом, а связано с существующим состоянием социального пространства. Скорее символическая власть связана с деятельностью официальных структур и признанных интеллектуалов, которые также находятся в процессе борьбы за право определять социальный мир.

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 286 с.
2. Барт Р. Нулевая степень письма. – М.: Академический Проект, 2008. – 430 с.
3. Бурдые П. Социология социального пространства. – М.: Алетейя, 2013. – 288 с.
4. Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. – Харьков: Гуманитарный центр, 2015. – 688 с.
5. Дебрэ Р. Введение в медиологию. – М.: Праксис, 2009. – 361 с.
6. Коломиец С.В., Каменева В.А. Дискурс прессы и рекламы как дискурс власти (гендерный аспект). – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 99 с.
7. Кречетова М.Ю., Сатаров Г.А. О подмене слов // Политика. – 2013. – № 4. – С. 23–35.
8. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – СПб.: Азбука, 2015. – 444 с.
9. Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2012. – 253 с.
10. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2006. – 276 с.
11. Мартынов М. Язык русского анархизма. – М.: Культурная революция, 2016. – 171 с.
12. Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика. – 2008. – № 24. – С. 43–47.
13. Паршина О.Н. Российская политическая речь. – М., 2012. – 227 с.
14. Поцелуев С.П. «Символическая политика»: к истории концепта // Символическая политика. Сб. науч. тр. / Отв. ред. О.Ю. Малинова. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – М.: ИНИОН, 2012. – С. 17–23.
15. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. – СПб: Издательство РХГА, 2014. – 348 с.
16. «Синдром публичной немоты». История и современные практики публичных дебатов в России / Отв. ред. Н.Б. Вахтин, Б.М. Фирсов. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 424 с.
17. Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. М.: ИД ВШЭ, 2010. – 207 с.
18. Чурашова Е.А. Обвинительный дискурс в постэлекторальной коммуникации // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2013. – № 1. – С. 45–51.
19. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис, 2004. – 324 с.
20. Blommaert J. Discourse A Critical Introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 299 p.
21. Discourse and Identity / Ed. by A. de Finna, D. Schiffrin, M. Bamberg. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 462 p.
22. Fairclough N. Language and neo-liberalism // Discourse and society. – 2000. – Vol. 11 (2). P. 147–148.
23. Li, Y. Intertextuality and national identity: discourse of national conflicts in daily newspapers in the United States and China // Discourse Society. – 2009. – Vol. 20. – No. 85. – P. 85–121.

24. The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning / Edited by F. Fischer, J. Forester. – Durham: Duke University Press, 1993. – 327 p.

25. The Handbook of Political Sociology. States, Civil Societies, and Globalization / Ed. by T. Janoski, R. Alford, A. Hicks, M. Schwartz. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 815 p.

26. Tileaga, Ch. Political Psychology. Critical Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 232 p.

References

1. Anderson B. Voobrazhaemye soobshhestva. – M.: Kanon-Press-C: Kuchkovo pole, 2001. – 286 s.

2. Bart R. Nulevaya stepen' pis'ma. – M.: Akademicheskij Proekt, 2008. – 430 s.

3. Burd'e P. Sociologiya social'nogo prostranstva. – M.: Aletejya, 2013. – 288 s.

4. Griffin E'. Kommunikaciya: teorii i praktiki. – Xar'kov: Gumanitarnyj centr, 2015. – 688 s.

5. Debre' R. Vvedenie v mediologiyu. – M.: Praxis, 2009. – 361 s.

6. Kolomic S.V., Kameneva V.A. Diskurs pressy i reklamy kak diskurs vlasti (gendernyj aspekt). – Kemerovo: Kemerovskij gosudarstvennyj universitet, 2012. – 99 s.

7. Krehetova M. Yu., Satarov G.A. O podmene slov // Politiya. – 2013. – № 4. – S. 23–35.

8. Lotman Yu.M. Vnutri myslyashhix mirov. – SPb.: Azbuka, 2015. – 444 s.

9. Luman N. Real'nost' massmedia. – M.: Praxis, 2012. – 253 s.

10. Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa. – M.: Gnozis, 2006. – 276 s.

11. Martynov M. Yazyk russkogo anarxizma. – M.: Kul'turnaya revolyuciya, 2016. – 171 s.

12. Maslova V.A. Politicheskij diskurs: yazykovye igry ili igry v slova? // Politicheskaya lingvistika. – 2008. – № 24. – S. 43–47.

13. Parshina O.N. Rossijskaya politicheskaya rech'. – M., 2012. – 227 s.

14. Pocoluev S.P. «Simvolicheskaya politika»: k istorii koncepta // Simvolicheskaya politika. Sb. nau.tr. / Otv. red. O.Yu. Malinova. Vyp. 1. Konstruirovaniye predstavlenij o proshlom kak vlastnyj resurs. – M.: INION, 2012. – S. 17–23.

15. Savchuk V.V. Mediafilosofiya. Pristup real'nosti. – SPb: Izdatel'stvo RXGA, 2014. – 348 s.

16. «Sindrom publichnoj nemoty». Istoriya i sovremennye praktiki publichnyx debatov v Rossii / Otv. red. N.B. Vaxtin, B.M. Firsov. – M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017. – 424 s.

17. Xirshman A. Ritorika reakcii: izvrashhenie, tshhetnost', opasnost'. M.: ID VShE', 2010. – 207 s.

18. Churashova E.A. Obvinitel'nyj diskurs v poste'lektoral'noj kommunikacii // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya. – 2013. – № 1. – S. 45–51.

19. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa. – M.: Gnozis, 2004. – 324 s.

20. Blommaert J. *Discourse A Critical Introduction*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 299 p.
21. *Discourse and Identity* / Ed. by A. de Finna, D. Schiffrin, M. Bamberg. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 462 p.
22. Fairclough N. *Language and neo-liberalism // Discourse and society*. – 2000. – Vol. 11 (2). P. 147–148.
23. Li, Y. *Intertextuality and national identity: discourse of national conflicts in daily newspapers in the United States and China // Discourse Society*. – 2009. – Vol. 20. – No. 85. – P. 85–121.
24. *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning* / Edited by F. Fischer, J. Forester. – Durham: Duke University Press, 1993. – 327 p.
25. *The Handbook of Political Sociology. States, Civil Societies, and Globalization* / Ed. by T. Janoski, R. Alford, A. Hicks, M. Schwartz. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 815 p.
26. Tileaga, Ch. *Political Psychology. Critical Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 232 p.
-

UDC 316.77

COMMUNICATIVE, SEMIOTIC AND COGNITIVE LEVELS OF DISCURSIVE DIMENSION OF POLITICAL PROCESSES. PART I

Pakhalyuk Konstantin Aleksandrovich,

The Moscow State Institute of the International Relations (University)
of the Ministry for Foreign Affairs of the Russian Federation,
The post-graduate student of chair of the political theory,
Moscow, Russia,
E-mail: kap1914@yandex.ru

Annotation

The author considers a discursive approach in political studies in terms of highlighting its key issues, namely, the non-neutrality of language in (re)production of political relations. This non-neutrality is associated with the study of three dimensions of discourse: communicative, semiotic and cognitive. The study of them requires active borrowing of various theoretical approaches and methodological tools from related disciplines.

Key concepts:

discourse analysis, cognitive science, history of science, political discourse, theory of metaphors, communicativistics, semiotics.
